Подається російською мовою через відсутність українського перекладу

Рюноскэ Акутагава

Бататовая каша

Было это в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом… И служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивара некий гои.

Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нем упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты Хэйанской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи… Одним словом, служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивара некий гои, и он-то и является героем нашей повести.

Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста. Нос красный, внешние углы глаз опущены. Усы, разумеется, реденькие. Щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы… Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего гои был на редкость затрапезный.

Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцунэ. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени ежедневно и неутомимо отправляет одни и те же обязанности, всегда в

одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. И вот результат: кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. (В описываемое время гои перевалило за сорок.) Всем казалось, будто сквозняки на перекрестках Судзяку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и, начиная от самого господина Мотоцунэ и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался.

О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные – а их, со званием и без званий, было около двух десятков – относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчиненные, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоятельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком на счет его умственной недостаточности. В подобных случаях они неизменно оглядывали его сверху донизу, от верхушки измятой шапки эбоси до продранных соломенных дзори, затем оглядывали снизу доверху, а затем, презрительно фыркнув, поворачивались спиной. Впрочем, гои никогда не сердился. Он был настолько лишен самолюбия и так робок, что просто не ощущал несправедливость как несправедливость.

Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили

застарелые остроты, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах все в тот же адрес. Прямо при гои они без устали обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Частенько предметом обсуждения становились его сожительница, толстогубая дама, с которой он разошелся несколько лет назад, а также пьяница-бонза, по слухам, бывший с ней в связи. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Перечислить их все просто не представляется возможным, но, если мы упомянем здесь, как они выпивали из его фляги сакэ и затем мочились туда, читатель легко представит себе остальное.

Тем не менее гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Что бы ему ни говорили, у него не менялось даже выражение лица. Он только молча поглаживал свои знаменитые усы и продолжал заниматься своим делом. Лишь когда издевательства переходили все пределы, например, когда ему к узлу волос на макушке прицепляли клочки бумаги или привязывали к ножнам его меча соломенные дзори, тогда он странно морщил лицо – то ли от плача, то ли от смеха – и говорил:

– Что уж вы, право, нельзя же так…

Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. (Это была жалость не к одному только красноносому гои, она относилась к кому-то, кого они совсем не знали, – ко многим людям, которые скрывались за его лицом и голосом и упрекали их за бессердечие.) Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе еще только-только начали пробиваться мягкие усики. Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: "Что уж вы, право, нельзя же так…" И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем

другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже Человека, страдающего под гнетом общества. И всякий раз, когда он думал о гои, ему представлялось, будто все в мире вдруг выставило напоказ свою изначальную подлость. И в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение…

Но так обстояло дело с одним-единственным человеком. За этим исключением гои окружало всеобщее презрение, и он жил поистине собачьей жизнью. Начать с того, что он не имел никакой приличной одежды. У него были один-единственный серо-голубой суйкан и одна-единственная пара штанов сасинуки того же цвета, однако вылиняло все это до такой степени, что определить первоначальный цвет было уже невозможно. Суйкан еще держался, у него только слегка обвисли плечи и странную расцветку приняли шнуры и вышивка, только и всего, но вот что касается штанов, то на коленях они были в беспримерно плачевном состоянии. Гои не носил нижних хакама, сквозь дыры проглядывали худые ноги, и вид его вызывал брезгливость не только у злых обитателей казармы: словно смотришь на тощего быка, влачащего телегу с тощим дворянином. Меч он имел тоже до крайности подержанный: рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое.

Однажды, проходя по улице Сандзе в сторону парка Синсэн, гои заметил у обочины толпу ребятишек. Волчок запускают, что ли, подумал он и подошел посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собачонку, накинули ей петлю на шею и истязают ее. Робкому гои не было чуждо сострадание, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на

своем лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал:

– Отпустили бы вы ее, собаке ведь тоже больно…

Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, высокомерно оттопырив губу, сказал:

– Обойдемся без твоих советов. Проваливай, красноносый.

Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблен и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в свое дело и тем себя унизил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошел дальше по направлению к парку Синсэн. Мальчишки, вставши плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высовывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишенного самолюбия гои!

Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашицу. В свое время это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как гои, оно могло попасть разве что раз в год, на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его

жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеется над подобными причудами, – просто ничего не понимает в человеческой природе.

Как это ни странно, мечта гои "нажраться бататовой каши" осуществилась с неожиданной легкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть "Бататовая каша".

Как-то второго января в резиденции Мотоцунэ состоялся ежегодный прием. (Ежегодный прием – это большое пиршество, которое устраивает регент, первый советник императора, в тот же день, когда дается благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров.) Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве, однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, мальгу из Удзи, карпов из Оми, струганого окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь:

– Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее вволю? – И со вздохом добавил: – Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят…

Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Тосихито Фудзивара, телохранитель Мотоцунэ, сын Токунаги, министра по делам подданных, мощный, широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным сакэ. Был он уже изрядно пьян.

– А жаль, право, – заявил он насмешливо и презрительно, увидев, что гои поднял голову. – Впрочем, если хочешь, Тосихито накормит тебя до отвала.

Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой – то ли плача, то ли смеха – гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску.

– Ну что, хочешь?

Гои молчал.

– Ну так что же?

Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности, но Тосихито произнес скучающим тоном:

– Если не хочешь, так и скажи.

И, услыхав это, гои взволнованно ответил:

– Да нет же… Покорнейше вас благодарю.

Все слушавшие этот разговор разразились смехом. Кто-то передразнил ответ: "Да нет же, покорнейше вас благодарю". Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатам хохота, словно волны, над чашами и корзинками с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито.

– Ну, раз так, приглашаю тебя к себе, – проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой. – Ладно, так тому и быть…

– Покорнейше благодарю, – повторил гои, заикаясь и краснея.

И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый – наливаться сакэ, второй – хохотать.

К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чем тут дело. Скорее всего, остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку сакэ и закусок осталось маловато, общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался сесть на коня, влезши второпях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Только гои, по-видимому, не слыхал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами: бататовая каша. Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным сакэ, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался…

Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Аватагути вдоль реки Камогава неторопливо ехали два всадника. Один, при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой каригину и в того же цвета хакама. Другой, самурай лет сорока, с мокрым красным носом, был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл донельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы-трехлетки, один буланый, другой гнедой, добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы вразнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое – очевидно, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и гои.

Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебли пожухлой полыни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив, и на дороге отчетливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над темной зеленью холмов Хигасиямы округло вздымались горы Хиэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, не прикасаясь к плеткам, и перламутровая инкрустация их седел блестела на солнце.

– Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся? – произнес гои, дергая повод неумелой рукой.

– Скоро приедем, – ответил Тосихито. – Это ближе, чем ты полагаешь.

– Значит, это Аватагути?

– Очень даже может быть…

Заманивая сегодня утром гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасиямы, потому что там-де есть горячий источник. Красноносый гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей да вдобавок еще помыться горячей водой – чего еще оставалось желать? Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути.

– Значит, это не в Аватагути?

– Потерпи еще немного, – отозвался Тосихито, усмехаясь.

Он продолжал ехать как ни в чем не бывало и только отвернулся, чтобы не видеть лица гои. Хижины по сторонам дороги попадались все реже, на просторных зимних полях виднелись только вороны, добывающие себе корм, и тусклой голубизной отливал вдали снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное, острые верхушки желтинника вонзались в него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко.

– Значит, это где-нибудь неподалеку от Ямасина?

– Ямасина – вон она. Нет, это еще немного подальше.

Действительно, вот и Ямасину они проехали. Да что Ямасина. Незаметно оставили позади Сэкияму, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму Миидэра. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через совершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что в те времена повсюду рыскали шайки разбойников… Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился:

– Нам далеко еще?

Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа собираются морщины, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается.

– Говоря по правде, я вознамерился отвезти тебя к себе в Цуругу, – произнес наконец Тосихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми.

Гои растерялся.

– Вы изволили сказать – в Цуругу? Ту, что в провинции Этидзэн? Ту самую?

Он уже слышал сегодня, что Тосихито, ставши зятем цуругского Арихито Фудзивары, большею частью живет в Цуруге. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзэн, лежащей за многими горами и реками, вот так – вдвоем, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да еще в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками?.. Гои умоляюще поглядел на Тосихито.

– Да как же это так? – проговорил он. – Я думал, что надо ехать до Хигасиямы, а оказалось, что едем до Ямасины. Доехали до Ямасины, а оказалось, что надо в Миидэру… И вот теперь вы говорите, что надо в Цуругу, в провинцию Этидзэн… Как же так… если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили с собой, как холопа какого-нибудь… В Цуругу, это же нелепо…

Гои едва не плакал. Если бы надежда "нажраться бататовой каши" не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и

повернул обратно в Киото. Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал:

– Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысяча человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге.

Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину, взял у него лук, блестевший черным лаком, и положил перед собой поперек седла, тронул коня и поехал вперед. Лишенному самолюбия гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полузабытую сутру "Каннон-ке", красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади.

Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями желтого мисканта. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной темно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания нестаявшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников… Вдруг Тосихито, повернувшись к гои, живо сказал:

– А вот и подходящий посыльный нашелся! Сейчас я передам с ним поручение в Цуругу.

Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая теплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент, когда он ее заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать

– это Тосихито, взмахнув плеткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всем, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням, наконец Тосихито остановился. Лисица была уже поймана. Он держал ее за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал ее до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гои, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему.

– Ну, лиса, слушай меня хорошенько! – нарочито напыщенным тоном произнес Тосихито, подняв лису перед своими глазами. – Нынче же ночью явишься ты в поместье цуругского Тосихито и скажешь там так: "Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи выслать ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригнать двух коней под седлами". Запомнила?

С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул ее далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед: "Пошла! Пошла!" Зверек, мелькая шкурой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, все было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки.

– Отменный посланец, – проговорил гои.

Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисицу обводит вокруг пальца. О том, в чем состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчетливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки и его собственная воля тоже теперь заключена в них и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито… Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь, даже отмечая в

поведении красноносого гои шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека.

Отброшенная лисица кубарем сбежала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло пересохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие ее, все еще возвышались на своих конях на гребне далекого склона. Они казались маленькими, не больше чем в палец величиной. Особенно отчетливо были видны гнедой и буланый: облитые вечерним солнцем, они были словно нарисованы в морозном воздухе.

Лисица оглянулась снова и вихрем понеслась сквозь заросли сухой травы.

Как и предполагалось, на следующий день в час Змеи путники подъехали к Такасиме. Это была тихая деревушка у вод озера Бива, несколько соломенных крыш, разбросанных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволоченным тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к гои и сказал:

– Взгляни туда. Нас встречают мои люди.

Гои взглянул – действительно, между соснами с берега к ним спешили двадцать-тридцать человек верховых и пеших, с развевающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито.

– Я вижу, лиса выполнила ваше поручение.

– У этого животного натура оборотня, выполнить такое поручение для нее раз плюнуть.

Так, разговаривая, Тосихито и гои подъехали к ожидающей челяди.

– Стремянные! – произнес Тосихито.

Почтительно склонившиеся люди торопливо вскочили и взяли коней под уздцы. Все вдруг сразу возликовали.

Тосихито и гои сошли на землю. Едва они уселись на меховую подстилку, как перед лицом Тосихито встал седой слуга в коричневом суйкане и сказал:

– Странное дело приключилось вчера вечером.

– Что такое? – лениво осведомился Тосихито, передавая гои поднесенные слугами ящички вариго с закусками и бамбуковые фляги.

– Позвольте доложить. Вчера вечером в час Пса госпожа неожиданно потеряла сознание. В беспамятстве она сказала: "Я – лиса из Сакамото. Приблизьтесь и хорошенько слушайте, я передаю вам то, что сказал сегодня господин". Когда все собрались, госпожа соизволила сказать такие слова: "Господин вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи вышлите ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригоните двух коней под седлами".

– Это поистине странное дело, – согласился гои, чтобы доставить удовольствие господину и слуге, а сам переводил зоркий взгляд с одного на другого.

– Это еще не все, что соизволила сказать госпожа. После этого она устрашающе затряслась, закричала: "Не опоздайте, иначе господин изгонит меня из родового дома!" – а затем безутешно заплакала.

– Что же было дальше?

– Дальше она погрузилась в сон. Когда мы выезжали, она еще не изволила пробудиться.

– Каково? – с торжеством произнес Тосихито, обернувшись к гои, когда слуга замолчал. – Даже звери служат Тосихито!

– Остается только подивиться, – отозвался гои, склонив голову и почесывая свой красный нос. Затем, изобразив на своем лице крайнее изумление, он застыл с раскрытым ртом. В усах его застряли капли сакэ.

Прошел день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонек светильника. В душе его одно за другим проплывали впечатления вечера накануне – Мацуяма, Огава, Карэно, которые они проезжали на пути сюда, болтая и смеясь, запахи трав, древесной листвы, камней, дыма костров, на которых жгли прошлогоднюю ботву; и чувство огромного облегчения, когда они подъехали наконец к усадьбе и сквозь вечерний туман он увидел красное пламя углей в длинных ящиках. Сейчас, в постели, обо всем этом думалось как о чем-то далеком и давнем. Гои с наслаждением вытянул ноги под желтым теплым плащом и мысленным взором задумчиво обозрел свое нынешнее положение.

Под нарядным плащом на нем были два подбитых ватой кимоно из блестящего шелка, одолженные Тосихито. В одной этой одежде так тепло, что можно даже, пожалуй, вспотеть. А тут еще поддает жару сакэ, в изобилии выпитое за ужином. Там, прямо за ставней у изголовья, раскинулся широкий двор, весь блестящий от инея, но в таком вот блаженном состоянии это не страшно. Огромная разница по сравнению с теми временами, скажем, когда он был в Киото учеником самурая. И все же в душе нашего гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Во-первых, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он

чувствовал себя так, словно ему вовсе не хочется, чтобы рассвет – и час наслаждения бататовой кашей – наступил поскорее. И в столкновении этих противоречивых чувств возбуждение, овладевшее им из-за резкой перемены обстановки, улеглось, застыло, под стать сегодняшней погоде. Все это, вместе взятое, мешало ему и отнимало надежду на то, что даже вожделенное тепло даст ему возможность заснуть.

И тут во дворе раздался громовой голос. Судя по всему, голос принадлежал тому самому седому слуге, который встречал их давеча на середине пути. Этот сухой голос, потому ли, что он звучал на морозе, был страшен, и гои казалось, будто каждое слово отдается у него в костях порывами ледяного ветра.

– Слушать меня, холопы! Во исполнение воли господина пусть каждый принесет сюда завтра утром к часу Зайца по мешку горных бататов в три сун толщиной и в пять сяку длиной! Не забудьте! К часу Зайца!

Он повторил это несколько раз, а затем замолк, и снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гои зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши… Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, прислушиваясь к голосу во дворе. С еще большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение зловеще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай "нажраться бататовой каши", но терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие, а когда не можешь, это препятствие исчезает, и теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого наконец дождался, прошла как-нибудь благополучно… Эти мысли, подобно волчку, неотвязно

кружились в голове у гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мертвым сном.

Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал и час Зайца прошел уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это – невероятно громадные горные бататы толщиной в три сун и длиной в пять сяку.

Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по пять-шесть больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши – одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешили так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, еще не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на поле боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И еще он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Цуругу, в далекую провинцию Этидзэн, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего гои к этому времени уже уменьшился наполовину.

Через час гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один-единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море,

бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата, как из котлов поплыли, изгибаясь, в ясное утреннее небо столбы горячего пара, напитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел все это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и еще не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым… Он неловко вытер со лба пот.

– Тебе не приходилось поесть всласть бататовой каши, – произнес Арихито. – Приступай же без стеснения.

Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков. И все они до краев были наполнены бататовой кашей. Гои зажмурился, его красный нос покраснел еще сильнее, и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:

– Отец же сказал тебе. Валяй, не стесняйся.

Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось, он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, превозмогая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест еще хоть немного, то все попрет из глотки обратно, а если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли.

– Покорно благодарю, – пробормотал он в смятении. – Я уже наелся досыта… Не могу больше, покорно благодарю.

У него был жалкий вид, на его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота.

– Ты ел еще мало, – произнес Арихито и добавил, обращаясь к слугам: – Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?

Слуги по приказу Арихито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но гои, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться.

– Нет-нет, уже довольно, – бормотал он. – Очень извиняюсь, но мне уже достаточно…

Вероятно, Арихито продолжал бы настоятельно потчевать гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: "Ого, глядите-ка!" И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глянцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах Тосихито.

– Лиса тоже пожаловала отведать бататовой каши, – сказал Тосихито. – Эй, кто там, дайте пожрать этой твари!

Приказ был немедленно выполнен. Лиса спрыгнула с крыши и тут же во дворе приняла участие в угощении.

Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, гои с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносым. Это был он, одинокий человечек в выцветшем суйкане и драных хакама, кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый гои, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши…

От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нем пот и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруге солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок.